## «Ноги» для бесконвойного хождения

# Сергей Снегов

В 1943 году в Норильский комбинат прилетел новый главный инженер — Виктор Борисович Шевченко. А так как в это время начальник комбината Александр Алексеевич Панюков находился, по случаю болезни, в длительном отпуске на «материке», то Шевченко сразу уселся в оба верховных комбинатских кресла — начальника и главного инженера.

Появление нового руководителя было ознаменовано собранием в ДИТРе — доме инженерно-технических работников — местных начальников всех рангов и калибров. На этом собрании Шевченко произнес свою тронную речь. О том, как происходила встреча главного начальника с подчиненным ему начальством, нам с воодушевлением поведал главный энергетик Большого металлургического завода.

— БМЗ — Сергей Яковлевич Сорокин, присутствовавший на собрании.

— Ребята, он невысок, полный, лысый и вообще — полковник, — рассказывал Сорокин в своем кабинете группке самых близких своих зеков — мне, Василию Лопатинскому, Мстиславу Никитину, Павлу Кирсанову. — А шинель у него, ребята, я посмотрел, обтрепанная, не то с чужого плеча, не то от рождения второго срока. И пуговица одна повисла, нитка длинная, не сегодня завтра оборвется. Еще не видал таких несолидных полковников. Нашим орлам из третьего отдела, ну, Племянникову или Двину из УРЧ лагеря, не говорю о начальнике лагеря Волохове, он ни в подметки... А что говорил! Что говорил!

— Ха, полковник! — легкомысленно высказался Кирсанов. — И генералов видали на этой должности Панюков — генерал-майор, наш бывший Авраамий Завенягин генерал-лейтенант был, теперь, наверное генерал-полковник. Простым полковникам Норильский комбинат не под силу.

— А что он все-таки говорил? — поинтересовался Никитин.

— Вот я и говорю — что говорил! Непостижимо, одно слово. Только вот что, ребята, вы у меня контрики... Так чтоб на сторону — ни звука. Лишь для внут-реннего употребления.

Для внутреннего употребления у нас был спирт который, кстати, для моей лаборатории в количестве от трех до пяти килограммов в месяц — как когда — визировал тот же Сорокин. Но мы, разумеется, дали слово быть немее могил.

— Он бывал у Лаврентия Павловича Берия, — продолжал Сорокин выбалтывать служебные тайны своим приближенным зекам. — Встреч с Завенягиным — бессчетно! И пообещал товарищу Сталину, что увеличит в этом году выдачу никеля на двадцать процентов. В момент, мол, когда погнали немцев от Сталинграда, истинное преступление, если металлурги сорвут производство танковой брони, а без никеля какая же броня? Вот такая была речь, ребята.

— Крепенько, — неопределенно высказался осторожный Лопатинский, по профессии бухгалтер, а не металлург, но разбиравшийся в производстве никеля глубже иных молодых специалистов.

— Внушительно! — поддержал Кирсанов, старший мастер электропечей. — Электропечи справятся, если не подведут ватержакеты.

— О чем и говорю! — Сорокин наконец спохватился, что пора придавать почти товарищеской беседе видимость делового обсуждения. — Все упирается в ватержакеты. Мстислав Иванович, вытянет плавильный цех увеличение на двадцать процентов? Филатов сказал, что вытянет, он металлург хороший...

— Вздор! — отрезал Никитин, старший механик плавильного цеха. Он знал свои ватержакеты гораздо лучше, чем самого себя. От плавильных агрегатов он никогда не ожидал ничего непредвиденного, а как сам поступит в следующую минуту, не был способен предугадать.

— В каком смысле — вздор?

— В самом обыкновенном. Чепуха! — Никитин обычно не затруднял себя техническим обоснованием своих производственных решений. Зато и не ошибался в них. Он изрекал, а не доказывал, но изрекал точно.

— А вы как думаете? — обратился ко мне Сорокин.

— Согласен со Славой. Ватержакеты работают на пределе. Чтобы выплавить большие руды, нужно вдувать в печи больше воздуха, а откуда его взять?

— Учтено! — быстро сказал Сорокин, — На самолетах везут новую воздуходувку. Шевченко и об этом говорил. Она даст прибавку воздуха даже на тридцать, а не на двадцать процентов. Он все предусмотрел.

— Ничего полковник не предусмотрел, Сергей Яковлевич! На ватержакеты воинские приказы не действуют. Скорость воздуха в трубе около пятидесяти метров в секунду. И в черную пургу такого урагана не бывает. И соответственно — жуткое сопротивление в трубах, а оно пропорционально квадрату скорости, вы сами это знаете. Поставите новую воздуходувку, увеличите расход энергии, но добавки воздуха не получите — все съест увеличившееся сопротивление в воздухопроводах. Новая воздуходувка будет забивать старые, а не усиливать их.

— Положеньице! — бормотал огорченный Сорокин. — Завтра Шевченко созывает совещание металлургов и электриков. Увеличение электроэнергии мы ему пообещаем, а подачу воздуха? Воздуходувная станция числится за мной. Что я ему скажу?

— А вот так и скажи, как объясняет Сергей, — немедленно откликнулся Никитин. — Так, мол, и так, полковник, рискованное дали обещание. Одобрить вашу опрометчивость не могу, ничего не выйдет с увеличением никеля. Плавильные агрегаты покорны инженерным расчетам, а не воинским приказам — точные у Сергея слова, их и повтори вслух.

— Ну, ты! — окрысился Сорокин. — Чтобы такое при всех! В вашу отпетую компанию не собираюсь!

Никитин ухмылялся, мы были спокойны. Мы знали, что Сорокин к дельным работникам, вольные они или заключенные, относится одинаково хорошо, а в интимных разговорах иногда удивлялся, почему нас посадили, а он уцелел, а ведь могли и его, раба божьего, за то же «без никакой вины» посадить. Он почти с отчаянием закончил:

— Наговорили! Одна надежда — не спросит меня полковник. Да я и не металлург, а энергетик. Пусть за никель отвечают Белов с Филатовым.

Весь вечер мы в бараке перетрепывали планы нового начальника. И удивлялись, как бесцеремонно обманывают самого Сталина нереальными обещаниями. И все согласились, что если бы Шевченко был из гражданских, то его за беспардонное вранье правительству вскорости бы посадили, но он полковник НКВД, а НКВД самое дорогое Сталину учреждение вывернется.

А в середине следующего дня ко мне прибежал курьер и срочно вызвал к начальнику БМЗ Белову.

Александр Романович Белов сердито прохаживался по кабинету. И так посмотрел, что я сразу сообразил: случилось что-то очень уж плохое. Начальник БМЗ никогда не позволял себе грубости с заключенными. Но тон, каким он заговорил, свидетельствовал, что он еле удерживается от ругани.

— Да вы с ума сошли! — так начал он. — Кто вас тянул за язык? В вашем положении молчание не золото, а жизненная необходимость. И кому высказали свои сомнения? Сорокин же не понимает, когда и что принято говорить. Он сегодня брякнул: «Ничего не выйдет с прибавкой воздуха, так считает наш начальник теплоконтроля». Шевченко накинулся на Сорокина, потом и мне досталось. «Вредителю, диверсанту, шпиону верите, а мне нет! Кто у вас заправляет технологией, кого подпускаете к техническому руководству?» Вот такие формулировочки! А за формулировочками — выводы. Вы не дурак, должны понимать, что наделали.

— Что я говорил Сорокину — правда, Александр Романович, — попробовал я защититься.

Белов раздраженно махнул рукой:

— Правда или неправда — это не имеет значения сейчас. Идет война, правительству даны ответственные обещания, их надо выполнять, а не оспаривать. Вечно попадаете в глупейшие истории! Ведь предупреждал после недавней драки с вольнонаемным, что защищать больше не буду. Теперь вас обвинят во вражеской агитации, в попытке опорочить правительственное задание. Это не кулачная схватка, от таких обвинений не оправдаться!

Я молчал, морально убитый. Обвинение в драке с «вольняшкой» было неотвергаемо. Собственно, драки не было, была защита от грабежа. Лаборатории теплоконтроля выделили несколько американских нержавеющих трубок. Они были такие длинные, что в наших комнатах не помещались. Мы поставили их встояк на лестнице. Там они и находились с неделю, потом ко мне ворвался мой мастер, недавно попавший в окружение на войне и награжденный после вызволения из него десятилетним сроком, и закричал, что нас грабят. Мастер был парень дюжий, мог легко справиться с двоими, но предпочел — еще не освоился с лагерными обычаями — не защищать кулаками свое добро. Я выбежал на лестницу. Дело было серьезное. На большом ватержакете перегрузили руды, не хватило кокса и воздуха, печь начала остывать— грозило «закозление». От «козла» обычно избавлялись тем, что вдували водопроводными трубами кислород из баллонов в недра печи через нижнюю летку. Трубки сгорали, одна сменялась другой, но температура возрастала и образовавшийся было «козел» расплавлялся. На этот раз в плавильном цехе побоялись, что не хватит наличных труб, и послали рабочих на розыски новых. Кто-то вспомнил, что в теплоконтроле имеется партия труб высшего качества. Двоих рабочих немедленно отрядили за ними. Когда я выскочил на лестницу, трубы уже тащили вниз. Я ринулся выручать свое имущество. Один из похитителей убежал, другой, не выпуская добычу из рук, орал, что без труб не вернется, авария на печи нешуточная. Но позиция для борьбы у него была незавидная, он стоял на лестнице внизу, я — наверху. Я использовал свои тактические преимущества — трубы вырвал, ударив его концом одной из них. Он покатился вниз и, матерясь, удалился.

А к вечеру меня вызвали к Белову. У него сидел забинтованный рабочий. На столе лежала справка из санчасти, что у потерпевшего следы избиения железным предметом. Одновременно выяснилось два важных фактора — авария на ватержакете ликвидирована и без моих труб, а похититель их вольнонаемный рабочий подал заявление, что подвергся зверскому нападению со стороны заключенного, когда принимал срочные меры к ликвидации аварии.

Александр Романович молча выслушал мое объяснение, потом обратился к рабочему:

— Сними повязки и покажи, как избили.

Тот поспешно распеленал лицо. Одна щека превратилась в сплошной не то синяк, не то «багряк», глаз над «багряком» внушительно заплыл. Белов набросился на меня:

— Безобразие — по одной щеке били! В следующий раз, когда будут грабить импортное оборудование бейте по всему лицу. Неплохо и руки покалечить.

А ошеломленному рабочему приказал:— Арестовывать за грабеж не буду, а попадешься еще раз, сниму броню — и на фронт!

Когда рабочий ушел, Белов рассмеялся:

— На этот раз дешево отделались! Но могло быть и хуже, если бы аварию сразу не преодолели. Оперуполномоченный Зеленский уже звонил — не подходит ли случай под террористический акт заключенного против вольного или хотя бы под саботаж ликвидации аварии? Я ответил, что подходит лишь под попытку вредительского использования ценнейшего оборудования и защиту от такого вредительства. Он вас не терпит, Зеленский. Будьте осторожны. В другой раз совершите глупость, могу и не суметь защитить.

Вот об этом случае и напоминал Белов. Он продолжал:

— Я сказал Виктору Борисовичу, что вы неплохой работник, на заводе в преступлениях не замечены. Но Шевченко и слушать не захотел, так вы его рассердили. В четыре часа он вызовет вас к телефону для объяснений. Будете говорить по моему аппарату. Я буду здесь же, но меня не будет. Включу селектор и послушаю ваш разговор, ни словом не намекайте, что я поблизости. Пока подождите в приемной, без пяти минут четыре входите. Секретарю скажите, чтобы никого к нам не пускала.

Даже перед судом в Лефортовской тюрьме в апреле 1937 года я так не нервничал, как перед разговором с Шевченко. Тогда, шесть лет назад, я еще наивно верил в правосудие. Шесть лет тюрьмы и лагеря вытравили из меня «гнило-либеральные» иллюзии объективности любых судилищ. Вероятно, я был очень бледен — Белов посмотрел на меня с сочувствием, показал на стул, придвинул ко мне телефон, а сам откинулся на спинку своего кресла.

Ровно в четыре из селектора вынесся густой директивный басок:

— Большой металлургический, мне нужен начальник теплоконтроля.

Я поспешно ответил в трубку:

— Слушаю вас, гражданин начальник комбината.

И сейчас же начался разнос. Шевченко не говорил, а орал:

— Слушаете? Это я хочу услышать, с каким умыслом вы распространяете вздор о печах! Такую чепуху, такую ерунду, такую нелепость! Мы мобилизуем трудовой коллектив на помощь фронту, а вы вредными слушками всех дезорганизуете. И находятся пустомели, что верят вашим преступным выдумкам! Отвечайте — с какой целью ведете подозрительную агитацию?

Я молчал. Много лет прошло с того дня, но и сегодня с жуткой отчетливостью помню свое тогдашнее состояние. Меня заполонило отчаяние — это самое точное слово. Я понял, что оправдания бесцельны — полковник госбезопасности, возведенный в главные инженеры комбината цветной металлургии, не захочет слушать ни объяснений, ни оправданий. Я не сомневался, что где-то неподалеку старший лейтенант той же госбезопасности Зеленский жадно прислушивается по своему селектору к нашему разговору и с привычной легкостью переводит ругательства Шевченко в пункты всеохватной 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР. Я был обречен. Я молчал.

В голосе Шевченко раздражение смешалось с гневом:

— Что там у вас — телефон сломался? Почему молчите? Еще раз спрашиваю — почему не отвечаете?

С тем же ощущением обреченности я ринулся в ответ как в пучину — вниз головой.

— Я не отвечаю, гражданин начальник комбината, потому что не понял ваших слов.

— Русского языка не знаете?

— Русский язык знаю, но термины, которые вы употребляете, мне незнакомы. В технике их не используют.

— Какие незнакомые термины я употребил? Называйте!

— Да почти все, что вы сказали, гражданин начальник комбината. Вздор, чепуха, ерунда, преступный умысел, подозрительная агитация, пустомели... Ни в одном учебнике металлургических процессов я не встречал таких названий. Я ведь думал, что вы будете меня расспрашивать о техническом состоянии воздухопроводов...

На несколько секунд замолчал и Шевченко. Я бросил взгляд на Белова. Он наслаждался разговором. Его так восхитил мой отпор, что он уже почти примирился с моим неизбежным арестом. Я понимал его. На заводе я был все же нужен, и ему не хотелось терять толкового работника. Дерзкий разговор делал невозможным сохранение меня в лаборатории. Но что я напоследок хоть «плюну в кастрюлю с борщом», смягчало для него неизбежные оргвыводы.

Но разговор вдруг принял неожиданный и для меня, и для Белова поворот. В голосе Шевченко теперь слышались не раздражение и гнев, а насмешка. Он собирался — во всеуслышание селектора — поиздеваться надо мной.

— Хотите поговорить о технике, а не о преступных помыслах? Хорошо, пусть техника. Отвечайте сразу — без подготовки и без подсказки. Там у вас, наверно, кто-нибудь рядом сидит, так пусть он помалкивает. Чем измеряете скорость воздуха?

— Приборами Пито и Прантля, — ответил я быстро.

— Откуда получили Пито и Прантля?

— Сам изготовил.

— По какому методу делали измерения и расчеты?

— По методике германского общества инженеров.

— Приведение к нормальным условиям было?

— Пересчитали на нуль градусов и давление в одну атмосферу.

— Измерительный аппарат? Как его очищаете? Рабочая жидкость?

— Микроманометр Креля. Очищали кислотой с хромпиком, рабочая жидкость спирт-ректификат. Разброс показаний могли подкорректировать методом наименьших квадратов, но не было нужды, разбросы несущественны.

— И получили пятьдесят метров для скорости воздуха?

— Так точно, гражданин начальник комбината. Пятьдесят метров в секунду.

— Чудовищно! Невероятно и недопустимо! Термины нетехнические, но иногда ругань — самая правильная терминология. Теперь слушайте меня внимательно. Немедленно повторите измерения скорости воздуха в десяти точках воздуховодов. Продолжительность измерений — шесть часов при нормальном режиме плавильных печей, показания снимаются через каждые десять минут. Данные наносите таблицей на ватман с чертежом воздуховодов и мест замеров, пересчитываете на нормальные условия и лично доставляете мне в десять утра в Управление комбината. Задание ясно?

— Задание ясно, но полностью выполнить не смогу.

— Что сможете и чего не сможете?

— Измерения и пересчеты сделаю, на ватман схему воздухопроводов нанесу. Но лично доставить не смогу. У меня нет «ног».

Впервые в голосе Шевченко послышалось удивление:

— Вы калека? Мне об этом не говорили.

— Только в косвенном смысле, гражданин начальник комбината. Я подконвойный. Пропуска для выхода с промплощадки в город не имею.

— Хорошо. В половине десятого к вам придет курьер и заберет материалы. И передаст вам для прочтения мою книжку по контролю металлургических процессов. Мою в смысле написанную мной самим. Довожу до вашего сведения, что моя инженерная специальность технологические режимы в металлургии. Ученая степень кандидат технических наук. Думаю, с инженером Шевченко вам будет легче использовать свои любимые технические термины, чем с полковником Шевченко. Действуйте.

Селектор замолк Лицо Белова сияло. Я медленно отходил от трудного разговора.

— Как вы его! Нет, как вы его! — в восторге твердил Белов. — И не ожидал от вас такой смелости, и Шевченко не ожидал. Он ведь пригрозил, что арестует вас за подрыв правительственных заданий. Я вам этого не сказал, чтобы сразу не ударились в панику. Теперь он вам плохого не сделает, ведь многие включили селектор и слушали, как вы его отчитывали. Нет, как вы его поставили на место!

— Александр Романович, — сказал я с упреком, — почему вы не сообщили, что он специалист по контролю металлургических процессов? Совсем ведь иной разговор мог получиться.

— Сам не знал, что он пишет книги. И никто не знал. Он впервые это высказал. А насчет разговора не беспокойтесь. Разговор — лучше и не пожелать! Теперь меня и другие поддержат, если понадобится вас защищать.

В эту ночь из моей лаборатории никто не ушел. Все лаборанты — в основном вольнонаемные девчонки и пареньки из сибирских городков и сел — остались, не спрашивая времени. Все понимали, что разразился аврал, надо каждому постараться. У меня были свои правила, приводившие в ярость нормировщиков и кадровиков, если узнавали о них, — но кадровики не узнавали, среди трудяг лаборатории доносчики не уживались. Суть правил была проста: работать, когда работа, и не притворяться работающим, когда работы нет. Это означало, что в дни авралов «вкалывают до опупения», а в незагруженные дни можно и прогуляться в тундру за ягодами, и возвратиться раньше смены в общежитие для вольных — или лагерь для зеков — лишь не попадаясь на глаза административным «придуркам»: пойманных на прогулах строго наказывали. Мой тогдашний помощник — и сердечный друг на всю нашу остальную жизнь — Федор Витенз показывал в эту ночь, что способен не только неутомимо ходить вдоль воздуховодов, но и бодро бегать по ним, — а трубы из воздуходувной станции в плавильный цех поднимались в иных местах над землей на высоту двухэтажного дома. О мастере Мише Вексмане и говорить не приходилось. Подвижный и почти такой же худой, как и я тогда, он по любому воздуховоду мчался, не уступая мне ни метра форы. А когда основные измерения выполнили и лаборанты разошлись, мы с Федей завершили задание Шевченко: я рассчитывал, у меня это получалось быстрей, он чертил, чертежник он был ровно на два порядка выше меня. Всю ночь до утра меня грызли сомнения: может, раньше я ошибался и воздух мчится по трубам вовсе не с возвещенной ураганной скоростью. Утром я успокоился, ошибки не было. Анализ измерений показывал, что скорость воздуха именно такая, какую я назвал Сорокину: 51 метр в секунду.

В предписанный час в лабораторию явился посланец Шевченко, вручил мне небольшую брошюру, забрал чертежи и вычисления и предупредил: в двенадцать часов я должен ждать телефонного вызова в кабинете Белова. Я показал Белову результаты ночных наблюдений и сел в приемной читать книжку Шевченко. Мной запоздало овладевало смущение. Я потребовал от Шевченко технического разговора, я думал хоть немного защититься от опасных политических обвинений языком техники. Но Шевченко знал технический язык гораздо лучше меня. Проработав на производстве несколько лет, я был в металлургии не так начитан, как наслышан и «навиден», а он инженерно в ней разбирался. И посадить меня в лужу на этой, глубоко ему ведомой почве металлургических закономерностей он мог куда проще и основательней, чем гневаясь и ругаясь. Так это мне увиделось, когда я перелистывал в уголке приемной книжку «Контроль металлургических процессов».

Я уже подходил к правде, но это была еще не полная правда.

— Срочно к Александру Романовичу, — сказала секретарша Белова.

Белов разговаривал по телефону с Шевченко. По довольному лицу главного металлурга я понял, что нового разноса не будет.

— Да, конечно, так я и говорил вам, Виктор Борисович. — Белов глазами показал мне на стул. — Он уже здесь. Передаю трубку.

В трубке загудел голос Шевченко:

— Ваш отчет — передо мной. Отношение к нему двойственное. С одной стороны — отлично, с другой — безобразие! Словечки нетехнические, но других подобрать не могу.

Я осторожно поинтересовался:

— Что именно отлично, а что — безобразие, гражданин начальник комбината?

— Отлична проделанная вами работа. А безобразие — все, что эта работа показывает. В моей книжке вы можете прочесть, что скорость вдуваемого в печи воздуха не должна превышать четырнадцати-пятнадцати метров в секунду, а у вас она свыше пятидесяти. И оспорить не могу, ваши расчеты сам проверил. В этих условиях монтаж новой воздуходувки эффекта не даст. Все съест возросшее сопротивление в трубах, то самое, что вы объяснили Сорокину и за что я собирался вас наказать. Но не радуйтесь, что наказания избежали. Всех нас теперь надо карать за техническую безалаберность. Вы получите новое задание.

— Готов, гражданин начальник...

— Виктор Борисович.

— Готов, Виктор Борисович.

— К вам сегодня придут проектировщики-металлурги. Я приказал выделить для них специальный конвой на промплощадку. Покажите им результаты измерений, ответьте на вопросы. Пусть пораскинут мозгами, кто и как допустил до нынешнего нетерпимого состояния. А завтра в десять утра явитесь на Малый металлургический завод. Я буду у начальника ММЗ Алексея Борисовича Логинова. Вы Логинова знаете?

— Немного. Налаживал на ММЗ теплоконтроль, газовый анализ.

— У меня все. У вас?

— У меня — ничего, Виктор Борисович, — сказал я и положил замолкнувшую трубку.

— Поздравляю! — сказал радостно Белов, — До этой минуты тревога все же была. Новая метла чисто метет, а эта — Виктор Борисович — не метет, а сметает. Строителям уже влетело по шее. Горнякам, особенно рударям, грозил понижениями в должности, даже арестами. Особенно коксохимикам попало. Кокс у них ведь какой: во-первых, дерьмо, во-вторых — мало. К металлургам Шевченко пока помягче. Теперь торопитесь к себе, проектировщиков уже доставили на промплощадку.

В лаборатории прохаживались два металлурга из проектной конторы: полный неторопливый Бунич (не помню ни имени, ни отчества) и худощавый, очень подвижный Александр Григорьевич Гамазин. Гамазин тыкал рукой в самописцы, автоматические датчики, изодромные регуляторы, Бунич обводил уставленные приборами стены равнодушными выпуклыми глазами.

— Устроился! — похвалил Гамазин. — Удельный князь, не меньше.

— Немного есть, — скромно согласился я, — С чем пожаловали, бояре?

— Нет, это вы говорите, что за катастрофа грянула? — потребовал Бунич. — Сколько лет получали благодарности за проект БМЗ. Вдруг — трах-бах, ох, ах — недоработка, ошибка, провал! И обвиняют, что злые пары из вашей кухни.

— Не всякому обвинению верь! — туманно высказался я.

— У меня принцип: никаким обвинениям не верю. Нет ничего проще и лживее обвинений, — сказал Гамазин. — Итак, все тот же вопрос — что? И доказательства этого «что»! На меньшее не соглашусь.

Я провел их в свою комнатку и показал ночные измерения. Гамазин присвистнул. Он соображал легко, был скор и смел в своих решениях — инженерных, естественно. В доарестантской жизни он трудился на Волховском алюминиевом заводе, участвовал в проектировании и освоении Запорожского алюминиевого, а в Норильске переквалифицировался из алюминщика в никелыцика — и уже считался специалистом по никелю. Мне он нравился и как человек. Спустя двадцать лет, трудясь над фантастическим романом «Люди как боги», я вспомнил Гамазина и назвал главного героя Эли Гамазиным: в фамилии слышалось что-то нездешнее.

— Все ясно, княже! — воскликнул Гамазин. — Какой у вас диаметр воздуховодов? Шестьсот миллиметров? Ха, чуть пошире канализационной трубы? А дуете на три ватержакета? Не вижу пока ничего ненормального. Ни один закон техники не опровергнут. Загадок нет. Вопрос исчерпан.

— Только ставится, а не исчерпан, — возразил я. — И загадка есть: почему вообще создалась такая ненормальность? В книжке Шевченко, вот в этой, он мне сегодня прислал, сказано, что выше пятнадцати метров в секунду скорости воздуха не должны подниматься. Как же возникло подобное нарушение технологии?

— А на это пусть отвечает главный проектировщик БМЗ. Бунич, давай! «Что», нам теперь ясно. Отвечай, почему появилось это «что»!

Бунич размышлял. Он всегда казался погруженным в размышления — даже когда ни о чем не думал. Он медленно переводил очень темные, очень выпуклые, очень близорукие глаза с одного на другого. У него неслышно шевелились губы. Шевеление губ всегда предшествовало движению языка. Потом он заговорил.

— Кто тут произносил странный термин «загадка»? Никаких загадок не было и нет. Все ясно, как свежеиспеченный блин на вычищенной сковороде. Да, он проектировал в последний довоенный год БМЗ. И хорошо спроектировал — в Москве одобрили. В проекте ненормальностей не было. Единственная ненормальность случилась уже после утверждения проекта. Проект полностью не осуществили, вот и вся разгадка. Как мыслилась переработка руды в проекте? Отражательная печь плавит руду на штейн, из штейна в конвертерах выжигается железо, а в ватер-жакетах очищенный от железа файнштейн разделяется на никель и медь, Классическая технология, идеальная цепочка. А где эта цепочка реально? Нет отражательной печи, ее заменили большим ватержакетом. И в нем теперь не разделительная, а рудная плавка.

— Побойся бога, Бунич! — закричал Гамазин. — Впрочем, ты уже в трех поколениях неверующий, ты с богом не посчитаешься. Но ты же сам согласился на изменение проекта. Что не построили отражательной печи — твоя инициатива.

— Моя, но почему? Выяснили, что руда плавится легче, чем предполагали, и можно обойтись без отражательной печи. Огромное преимущество перед проектом! Но и отклонение от нормы. Ибо если запроектировали хорошо, а получилось лучше, то это тоже ненормальность. Радостная, но ненормальность! А заменив дорогую отражательную печь уже построенным ватержакетом, позабыли, что на разделительную плавку требуется меньше воздуха и что воздуходувки рассчитаны именно на нее. А тут — война! Не до переделок воздухопроводов, давай скорее никель! До поры ненормальности не замечали: воздуху хватало.

Гамазин радостно хлопнул рукой по столу.

— Короче, головокружение от успехов! А после головокружения — головная боль: надо ликвидировать искажение достижений. Бунич, ходом к Белову!

Белов, порадовавшись успешному выяснению загадки, вынул из сейфа две пачки махорки — еще довоенной из Кременчуга — и вручил их проектировщикам. Оба, хотя и не курящие, с благодарностью приняли роскошный дар — даже сибирская «махра» ходила золотой лагерной валютой, о кременчугской и говорить не приходилось: Украина второй год лежала под немецкой пятой, об украинской махорке вспоминали со вздохом.

Утром следующего дня я направился на Малый завод. От БМЗ до ММЗ было с полкилометра, но дорога тянулась неровная, петляла меж валунами, проваливалась в рытвины, вспучивалась колдобинами. Был и другой путь — по трубопроводам. Трубы опускались местами до самой земли, местами вздымались над долинками и провалами. Укутанные в асбоцементные плиты, стянутые стальными обручами, они были много удобней земных дорог— для крепких ног, естественно. Я по этим трубопроводам и шествовал, и бегал, только в пургу побаивался — при сильном ветре иных и на земле сносило, а на трубе никому не устоять. В то утро погода была отличная, на высоте бежалось хорошо И я бежал с воодушевлением.

В обширном кабинете начальника ММЗ в 1939 году я имел свой стол. Я тогда занимался исследовательскими балансовыми плавками, результаты которых Бунич и положил в фундамент проекта БМЗ. И вошел в этот хорошо знакомый кабинет с чувством, что посещаю родную квартиру.

Но не было ни моего маленького стола у правой стены, ни левого большого стола главного металлурга комбината, тогда им был Федор Аркадьевич Харин. Остался лишь стол бывшего начальника ММЗ Ромашова. Их давно уже не было в Норильске, обоих еще перед войной арестовали за что-то реально случившееся или нехитро придуманное — оба, наверно, бедовали в каком-нибудь из лагерей. А за столом сидели, один рядом с другим, один удивительно похожий на другого, два плотных лысых человека — и лишь приглядевшись, можно было разобраться, что один помоложе и покрасивей другого. Помоложе и покрасивей был Логинов. Вторым был Шевченко.

— Садитесь! — приказал Шевченко, показывая рукой на стул, и обратился к Логинову: — Хочу тебя познакомить, Алексей Борисович, с начальником тепло-контроля на БМЗ. Я думал его наказать за то, что публично опорочивает мероприятия по выдаче никеля, обещанные правительству. А он сам задал мне трепку, да еще по селектору! Не хочу, говорит, с вами разговаривать, пока не научитесь техническому языку. Жуткая личность! Ты его бойся, он и тебе выдаст не меньше, чем мне.

Шевченко с удовольствием вышучивал наш телефонный разговор. Логинов улыбался. Я вымучил из себя какую-то приличествующую улыбенку. Логинов сказал:

— С Сергеем Александровичем знакомы. Значит, такое же обследование у меня, что проделано на БМЗ?

— Такое же, — подтвердил Шевченко. — И у тебя, возможно, не все в ажуре. — И он опять заговорил со мной — уже серьезно:— Вы, конечно, не знали, что та скорость воздуха, которую определили в воздухопроводах, абсолютно недопустима. Но что ее уже нельзя превзойти, понимали, и за это вам спасибо. Но главное не в том, что вскрыты технологические безобразия. Открывается и путь к повышению производительности плавильного цеха, о котором еще недавно не догадывались. К нам самолетами уже доставляются части обещанной воздуходувки. Она эффекта не даст, это вы Сорокину сказали верно. Единственный выход — строить новые воздухопроводы. На днях я улетаю в Москву просить металл для дополнительной нитки труб. Но я вызвал вас не для того, чтобы поделиться этими, в принципе секретными сведениями. Хочу знать, чем сам могу помочь вам? О чем бы хотели попросить?

Я не хотел ничего выпрашивать. В бытовых мелочах я не нуждался, а свободы, единственного, чего мне не хватало, Шевченко подарить не мог. Он вглядывался в меня, он понимал, почему я молчу.

— Да, конечно, выпустить вас на волю я не могу, — заговорил он снова. — Но о сокращении срока заключения похлопочу, это в моих силах. Вы жаловались, что без «ног». Сегодня вас сфотографируют на пропуск бесконвойного хождения по городу. Больше не потребуется посылать к вам, как к владетельному монарху, специальных курьеров или выделять вооруженный конвой, чтобы лично увидеть вас и пожать руку.

Он подкрепил эти слова тем, что встал и пожал мне руку. Я был бесконечно смущен. Обратно в свою лабораторию я бежал по тому же трубопроводу. А потом удивлялся, как не сверзился с зысоты — от волнения пошатывался на узких трубах, как опоенный брагой. Вскоре Белов порадовал меня, что готовится список на снижение сроков заключения особо отмеченным за трудовое усердие заключенным. Мне намечается самая высокая льгота — три года «досрочки».

— Да зачем мне так много? — удивился я. До «звонка» к приходу списка мне останется не больше двух лет.

— Больше потребуем, охотней уважут. Виктор Борисович сказал — сделаем все, что в наших возможностях.

Он сильно преувеличивал свои возможности, Виктор Борисович Шевченко, полковник и ученый, главный инженер Норильского комбината, а в недалеком будущем генерал, доктор наук, членкор академии, один из руководителей наших ядерных исследований. Список лиц, удостоенных снижения сроков, был опубликован в следующем году. Мне, точно, хватило бы и двух лет «досрочки», чтобы сразу выйти на волю. Но и года не было. В радостном списке я не нашел своей фамилии. Спустя несколько лет, воспользовавшись знакомством с одной из сотрудниц Управления Норильского ИТЛ, носившей форму армейского капитана, я узнал, что в списке, подписанном самим Шевченко, я точно стоял из первых. Но против моей фамилии было начертано синим карандашом: «Возр. Зел.».

Зеленского уже не было в Норильске. Возведенный к тому времени в майорское достоинство, он в конце сорок третьего года умчался в Киев — «фильтровать», как выразился однажды при мне начальник ГУЛГМП, генерал-майор Петр Андреевич Захаров, освобожденное от немецкого ига счастливое население украинской столицы.

Белов постарался ослабить удар оперуполномоченного Зеленского.

— Подготовили новый список на досрочное освобождение, — сообщил он. — Ограничились просьбой об одном годе. Вам этого хватит, а особого внимания к вам не демонстрируем, чтоб не раздражать лагерное начальство, вы у них не на лучшем счету. Лично прослежу, чтобы кто-нибудь не подпортил.

Белов обещание свое выполнил. В следующем списке на снижение сроков я значился в объеме одного года. Этого мне и вправду хватило. Вместо 6 июня 1946 года — по «звонку» — я вышел на волю 9 июля 1945 года.

Ни Шевченко, ни Белова в Норильске уже не было. Шевченко вне Норильска я больше не видел, а с Беловым потом пришлось неоднократно встречаться. Я работал над повестями о зарубежных и советских ядерщиках, а Белов, сдав многолетнее директорство на одном из крупнейших атомных заводов, взял на себя руководство Кольской атомной электростанцией — большего ему не позволяло здоровье. Он много помог мне — рассказами о деятелях атомной эпопеи, организацией знакомства с ними, описанием важных событий и этапов нашей ядерной промышленности.

До самой его — истинно безвременной — смерти нас связывала взаимная душевная теплота.

«Ноги», подаренные мне Шевченко, внесли сумятицу в мое тесно ограниченное внелагерное бытие. Мир, зажатый в нескольких стенах, внезапно расширился и переменился. Я ощущал себя зверем, вырвавшимся из клетки, — радостно и боязливо. Помню свой первый выход из зоны в город. Рука от волнения вспотела, пропуск стал горячим и влажным. Если бы вахтер взял его в руки, он удивился бы странному состоянию этой книжицы с моей фотографией в темном кительке. Но, даже не взглянув на меня и на пропуск, он только махнул рукой — проходи, не задерживайся. Вахтеры не сомневались, что конвойные к вахте не приближаются. И я зашагал за пределами зоны, один, без конвоя, как истинный «вольняшка» — во всяком случае, уже полувольный. И у меня было чувство, что совершаю что-то почти запретное и что поэтому все смотрят подозрительно. Я ловил брошенные на меня взгляды, сгибался от каждого слишком внимательного глаза. Я шел наугад — по улице Горной к вокзалу, к Угольному ручью, по улице Октябрьской через ручей Медвежий, по дамбе через озеро Долгое в Горстрой — будущий город. Я не знал, куда ведут меня ноги, а расспрашивать опасался. Человек, не ведающий пути, мог показаться и беглецом. Я не хотел, чтобы меня задерживали и вели на допросы. Я только шагал по трем тогдашним улицам Норильска, из конца одной в конец другой, поворачивал со второй на первую, с первой на третью. Только восторженно шел и шел, все снова шел, и шел, и шел. Ни в магазины, ни в учреждения заглядывать я не осмеливался, минуло еще несколько дней, прежде чем я позволил себе такой отчаянный поступок — войти в магазин. Правда, мне и покупать было нечего, хоть деньги я имел, почти все, кроме мелочей и пустяков, выдавалось по карточкам. Но я столько лет не видел настоящих магазинов, что простое проникновение сквозь их двери представлялось желанной целью. И однажды, войдя в магазинчик, я что-то все-таки купил — не то расческу, не то зубную щетку.

У выхода меня перехватил знакомый — рабочий опытного цеха, бывший заключенный-бытовик, освободившийся еще до войны.

— Серега! — удивился он. — Вышла досрочка? Ну, поздравляю!

Я пробормотал что-то невразумительное, Он радостно продолжал:

— Столько не виделись, Сергей! Я на обогатительной, на войну не взяли, здесь нужен. Жену завел, сынок есть. Идем ко мне, я живу неподалеку, сам построил себе балок. Дворец! Комната, кухня, не поверишь. Жена обрадуется, это не сомневайся. Пошли, пошли. Чтобы освобождение твое не отпраздновать — да никогда!

Я объяснил, что до освобождения мне далеко, а бесконвойный пропуск не дает права ходить к вольным в гости. И уже поздно, надо возвращаться — пропуск не суточный, а до ночи.

— Понимаю, — сказал он. — Сегодня отпущу, а в выходной приходи. Запиши адресок.

Адрес я записал, но не помню, воспользовался ли приглашением.

Вскоре я обнаружил, что имеются маршруты приятней бесцельных блужданий по улицам. Норильск с юга заперт от остального мира тремя угрюмыми горами — Шмидтихой, чуть повыше 500 метров, Рудной и Барьерной, эти и пониже Шмидтихи, и не так массивны. В ущелье Шмидтихи и Рудной зарождается Угольный ручей и дальше пересекает западную часть поселка, постепенно превращаясь в дурно пахнущую клоаку от обилия притирающихся к нему домов и балков. Однажды мы снарядили химиков проверить минерализацию ручья при его впадении в озерко Четырехугольное — она по насыщенности солями превзошла морскую, а пахла куда хуже моря. Выходы на запад запирала продолговатая невысокая горушка с точно характеризовавшим ее названием Зуб. Дальше за горами на юге и западе раскидывались, я потом в них проникал, небольшие долинки и плато — их покрывал кустарник и карликовые деревца. Но даже с бесконвойным пропуском я не осмеливался забираться в такие районы — слишком много колючих заборов пересекало путь, слишком много вахтеров интересовались, куда и для чего иду. «Куда», я всегда мог объяснить, но на «для чего» убедительных ответов не отыскивал: чистосердечное признание «на прогулку» звучало подозрительно.

Зато на север и восток от Норильска простиралась довольно далеко — до горных гряд Хараелаха и Путорана — гладкая лесистая равнина. Я еще не знал, что именно здесь пролегает один из мировых географических рубежей, — на запад от Норильска за Урал раскидывается великая тундра, а на восток, уже до Тихого океана, столь же великая тайга — грандиозная граница двух ландшафтов, перерубившая с юга на север Норильскую долинку. Но и не зная этого, я стремился туда, на север и на восток, в лиственничные и березовые лески — та сторона еще не была так опутана колючей проволокой, как юг и запад. И однажды летом 1944 года я забрался так далеко на восток, что уже не слышал гуды заводов и грохот автомашин.

Я поднялся на голый холмик, за много тысяч лет осатанелые пурги сдирали с него любое деревцо, пытавшееся выдраться из земли. Но весь он, этот круглый холмик, был окутан в густой и теплый мох. Белый жестковатый ягель перемежался с темно-зеленой шерсткой какой-то мягкой северной травки, а травку и ягель подпирал безмерно жизнелюбивый спорыш — я был знаком с ним на Черноморье, встретил как старого приятеля и в Заполярье. Я сел лицом на запад и осмотрелся. Впервые я обозревал Норильскую долину с высоты — она вся была передо мной. Позади был еще неведомый мне лес, впереди картинно раскидывался красочный пейзаж: Зуб, запирающий запад, справа здания города, слева обогатительная фабрика, Большой и Малый заводы, коксохим и кобальтовый, а по краям промплощадки квадраты лагерных отделений — четырехугольники белых бараков, сотни бараков... А над всем этим цивилизованным миром — бараками и продымленными цехами «Северной стройки коммунизма», как именовали Норильск в местной газете, — возвышались подпиравшие небо горы, три горных барьера, отрезавшие наше жилье от «материка» — массивная Шмидтиха, облезлая Рудная и островерхая Барьерная. Хоть и не на малом отдалении, но я увидел сбегающий с раздела Рудной и Барьерной ручеек, поэтически названный Медвежьим. И хоть этот ручей, сбежав с горы, еще тесней извивается по центру города, чем окраинный Угольный, но все же до самого озера Долгого несет относительно чистую воду — ее не пить, но и не зажимать носа. И я вспомнил, что верховья Медвежьего ручья пять лет назад, когда я терял силы на котлованах Металлургстроя, где теперь раскинулся БМЗ, представлялись мне границей достижимого мира, прекрасной границей, чистой, светлой и запретной. Я тогда много писал стихов, среди прочих о первой осени в Норильске были и такие:

Все глуше шум Медвежьего ручья,

Все явственней пожухлых листьев лепет.

И все проникновенней слышу я

Земли и камня потаенный трепет.

Вникая в быстрый говорок берез,

Следя гусей изломанную стаю,

Я лом кладу украдкой на откос,

Бегу, хочу взлететь— и не взлетаю...

Я закрыл глаза. Мне было хорошо, впервые я ощутил себя вольным. «Ноги», лежавшие в кармане кителя, унесли меня в освобождение от людей. Так было недалеко от них и так хорошо без них! Я лег животом на холмик, обхватил его руками и целовал его шерстку, смесь ягеля, спорыша и какой-то нитяной травки, хватая ртом корешки и землю.

Много лет прошло с того дня, а мне все кажется, что ощущаю ртом горьковато-терпкий вкус набившихся в него камней, земли и листьев.

Блуждания за межами городских окраин стали важной частью моего бытия. В спокойные часы, когда не ожидалось чрезвычайностей в цехах я уходил в «служебную командировку», так это объявлялось требовавшим меня телефонным голосам. Это была и вправду служебная операция — я служил себе, «работал над собой», как принято было тогда говорить — истово и радостно утаптывал валенками или тяжелыми американскими ботинками, выданными вместе с персональным кителем, то снег, то склизкую мшистую, валунистую тундру. В Норильске загородные прогулки у вольных не вошли в обычай. В этом городе неслужебное существование замыкалось в каменных стенах зданий либо в рваных досках и ржавой жести балков в городских «шанхаях». Только мой добрый знакомый, физик Владимир Николаевич Глазанов, я это узнал поздней, использовал, как и я, подаренные ему пропускные «ноги» для прямой работы ногами в тундровом «Занорилье».

Выходы из города не всегда были бесцельны. Временами я превращал прогулку в географическое исследование. Во второй половине января на широте Норильска кончалась полярная ночь — солнце выглядывало на несколько минут над горизонтом. Но так происходило только теоретически. На практике солнце еще долго и глухо скрывали горы. Солнце внизу, под горизонтом, начинало в январе выдираться наверх — с востока на юг за спиной Барьерной, но так и не показавшись, уходило позади Рудной снова вниз, за горизонт — радовать края, не подозревавшие, что существует такое грозное время — полярная ночь... Юг, приходившийся на долинку между Рудной и Барьерной, был местечком, где солнце выше всего поднималось в небе, но только в начале февраля оно набирало силу высунуть сияющий ободочек в междугорье. А до этого с середины января солнце давало о себе знать заревом, вспыхивавшим в горной долинке ручья Ергалаха, текущего на юг между этими двумя горами. Сперва это было светлое пятнышко, оно виднелось лишь несколько минут. С каждым днем пятнышко расширялось, поднималось выше, делалось ярче. И в конце января каждый полдень горный юг озаряла феерия светопожара. Он шел от Барьерной к Рудной, золотые и малиновые струи вырывались из горных недр, образовывали сияющий полукруг — солнце предваряло свое появление красочной аурой, короной света и красок. Но сияние тускнело, аура стягивалась, в короне погасали ее сияющие лучи — солнце, так и не выбравшись наружу, снова погружалось вглубь. И так должно было продолжаться до второго февраля, этот день считался днем первого появления солнца над Норильском.

Мне всегда не хватает солнца. В древности солнцепоклонство было бы мне самой близкой религией. Много лет в январе я выходил наружу и любовался — с восхищением и тоской — попытками солнца выдраться из-под земли и уходил к себе считать дни до его появления. Бесконвойный пропуск дал возможность сократить ожидание. Я бы не простил себе, если бы не воспользовался такой возможностью. И во второй половине января 1945 года я вышел на тайное свидание с солнцем.

Я заранее рассчитал маршрут. Солнце возможно было увидеть, лишь отдалившись на север от трехгорья — «большое видится на расстояньи», говорил я себе. Оно должно выскользнуть с западного склона Барьерной и, пересекая долину Медвежьего ручья, где пышно бушевал световорот, скрыться за восточным склоном Рудной. Надо забраться подальше на север и на запад, только там на несколько минут откроется солнце. На северо-западе раскинулось озеро Долгое, питавшее водой котлы ТЭЦ и охлаждавшее ее генераторы. За озером простиралось тундровое редколесье — даже невысокие лиственницы могли затенить обзор. Я направился к западной окраине озера, за насосную станцию ТЭЦ.

Здесь я выбрал возвышенное местечко, затянутое льдистой броней, и стал ждать. В долине Медвежьего ручья высветилась заря. На западе, севере, даже на востоке лежала лишь посеревшая полярная ночь — на небе тускло посверкивали звезды. А на юге расширялось пламенное полукружие, оно оттесняло сумрак, бросая багровый отблеск на восточный склон Рудной. Багровое сияние превратилось в малиновое, накалилось до червонного золота — и вдруг из-за неожиданно потемневшей на фоне сияния Барьерной выскользнуло солнце. Я закричал, сорвал с себя шапку и подбросил ее вверх.

В первые секунды явления земле солнце было лишь узеньким ободочком, он быстро нарастал, становился сияющим сегментом, сегмент обратился в полусферу, полусфера вырастала в диск. На озеро за мной, на серую землю по сторонам, на скалистые обрывы Зуба брызнуло сияние дня. Солнце вынеслось у западного склона Барьерной прямо из-под земли и, слегка поднимаясь над поверхностью, быстро перемещалось к громадному массиву Рудной. Я знал, что увижу солнце.

Но что оно будет так ощутимо двигаться, и не подозревал: люди привыкли, что солнце не бежит, а плавно плывет по небу. Но сейчас; в первом своем явлении, оно торопилось, всего несколько минут отводилось ему распорядком полярной природы. Оно побежало к верхней своей точке над Медвежьим ручьем и стало закатываться вглубь земли. И я понял, что если буду живым валуном торчать на приглянувшемся мне обледенелом пригорке, то солнце через минуту-две совершенно скроется и снова меня окружит тот синеватый сумрак, который называется полуднем полярной ночи — Солнце надо было догонять. Я соскочил с пригорка и помчался за убегающим солнцем.

Солнце шло, как и положено ему, с востока на запад. Я бежал, чтобы продлить свидание с ним, с запада на восток. Только так я мог отдалить миг, когда его прикроет щит высокой Рудной. Я помчался по насту, вскакивал на валуны, обегал рытвины и щели — дорога была неровна и скользка. Я стал отставать от солнца. Хоть и превратившее свой бег в неспешное уползание, оно все отчетливей сближалось с Рудной. Настал момент, когда его край соприкоснулся с камнем и стал пропадать за ним. Шар превратился в полусферу, полусфера в сегмент, снова лишь узенький сияющий ободок, удерживаемый моим ошалелым бегом по земле, еще виднелся на гребне массивной и хмурой горы.

И тогда я вскочил на водопроводную трубу и понесся по ней. От водонасосной станции тянулись две нитки, питающие ТЭЦ рабочей и охлаждающей водой. Обе трубы были гораздо шире воздухопроводов, по которым я бегал на промплощадке Укутанные в шлаковату, обитые защитными досками, они были в диаметре больше метра и простирались на полтора-два километ ра с запада на восток как раз по нужному мне на правлению. И хотя они местами еще выше поднимались над землей, чем заводские, бежать по ним было удобней и безопасней.

Пока я взбирался на трубу, солнце пропало за Рудной. Лишь красно-золотое пятно на краю горы показывало место, куда оно кануло. Но я не сомневался, что хоть на несколько минут, но ворочу его. После первых неуверенных шагов по трубе, я припустил изо всей мочи И с ликованием убедился, что обгоняю солнце Солнце пошло назад, оно двинулось в обратную дорогу. Оно снова показалось из-за края горы только немного ниже места, куда перед тем скрылось. Маленький ободок медленно вырастал в сегмент Январский мороз был ниже тридцати градусов, ветра в тот день не случилось, я быстро промок от пота. Сердце бешено колотилось я заглатывал ледяной воздух широко распахнутым ртом. Только звериное здоровье да упрямый характер, восстававший на слабость, обеспечивали неистовый бег к новому явлению солнца. Я знал, что вытащу солнце из-за горы. Я знал, что скорей свалюсь от сердечного удара, чем остановлюсь — либо замертво пасть, либо вызволить солнце из камня.

И я добился своего. Солнце продолжало медленно выдвигаться назад. Сегмент снова стал полусферой, полусфера округлялась. Настал момент, когда солнце оторвалось от Рудной и повисло, свободное в небе. Нижний его край касался долинки, правый край еле не упирался в гору, но оно было, было — яркое, свободное, одинокое в небе!

Я соскользнул с трубы на землю — пылающим лицом в снег, — хохотал, бил руками по ледяному насту. Когда я наконец поднял голову, солнца не было. Густела быстро наступающая ночь.

Минуты радости порой выпадали и в лагере, эти хорошие минуты помнились долго. Но в тот день конца января 1945 года я знал не простую радость, а счастье. Я чувствовал себя всесильным. Ибо я вызвал исчезающее солнце назад, полюбовался им и позволил потом идти куда ему назначено.